

## *Глава VII*

### **ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАСИЛИЯ**

#### **Введение в тему**

Около пяти лет тому назад я обратился с просьбой к одному из моих младших коллег подготовить обзор литературы и основных подходов по теме антропология насилия, чтобы использовать его для анализа одного из первых насильственных конфликтов на территории бывшего СССР — Ошского конфликта 1990 года в Киргизии. Вместо этого обзора в журнале «Этнографическое обозрение» появилась статья, заслуживающая скорее критики за ее схоластический и внедисциплинарный характер, а не поверхностного комментария, предложенного тем же журналом<sup>1</sup>. Что касается моего собственного анализа Ошского конфликта, то он был выполнен уже без особых теоретико-методологических экскурсов по проблеме насилия. Последующее описание конфликтов (чеченской войны и ингушско-осетинского) также содержало отрывочные наблюдения и высказывания по теории насилия<sup>2</sup>. Более цельно мы высказались только по проблеме толерантности в трансформирующихся обществах<sup>3</sup>, но и эти сюжеты еще нуждаются в дополнительной теоретической разработке.

Однако несколько лет занятий проблемой конфликтов и наси-

лия собрали на моем рабочем столе наиболее значимые работы, имеющие отношение к теме. В итоге у меня появилась возможность высказаться более обстоятельно по данной проблеме, особенно в контексте и на материалах нашей новой работы по этнографии чеченской войны<sup>4</sup>. В данной статье делается попытка проанализировать существующие научные подходы к проблеме насилия и тем самым начать разговор в отечественной социально-культурной антропологии по данной проблеме.

Конечно, чтобы писать об антропологии насилия, необходимо выполнить первичное дисциплинарное условие — осуществить полевые исследования по данной теме, т.е. изучить случаи насилия через включенное наблюдение. Поскольку нас интересует феномен прямого и коллективного насилия в форме конфликтов и войн, выполнить данное требование крайне трудно. Нам остается преклоняться перед теми коллегами-антропологами, которые изучали конфликт и насилие в условиях непосредственного и длительного контакта, подвергая свою жизнь риску, а некоторые поплатились жизнью, как, например, американский антрополог Мирна Мак, убитая в 1990 году гватемальскими солдатами за то, что изучала историю жизни гватемальцев в условиях военно-политического террора. Проблемам выполнения полевых исследований в условиях этнополитических и других конфликтов посвящена специальная коллективная работа, к которой мы можем отослать читателя<sup>5</sup>.

Что касается нашего собственного опыта, то он носит скорее мозаичный характер, хотя и достаточный, чтобы взяться за столь сложный анализ общетеоретического характера. В 1992 году я посетил Южную Осетию, когда там только что закончились военные действия и началось выполнение трехсторонних договоренностей по мирному урегулированию. Тогда же я имел возможность посетить Тбилиси после окончания в Грузии гражданского конфликта и прихода к власти Эдуарда Шеварднадзе. В том же году на моих глазах происходила эскалация осетино-ингушской напряженности в Северной Осетии. В декабре 1994 года — участие в переговорах с чеченской делегацией во Владикавказе. Под выстрелами (но и под охраной!) автор провел две ночи в Грозном в октябре 1995 года, участвуя в заседании круглого стола, организованного тогдашним правительством Чечни во главе с Саламбеком Хаджиевым. В 1995

году — участие в международной миссии по местам цыганских погромов в Румынии. Помимо этого были посещены страны и регионы, где произошли или имеются насильственные конфликты (Югославия, 1991; Кипр, 1995; Северная Ирландия, 1996; Шри Ланка, 1997; Хорватия, 1998). Там был собран некоторый полевой материал. Но самый главный источник — это полевые материалы по Чечне, собранные нами на основе метода делегированного интервью и собственных бесед с участниками и жертвами войны.

Мы не ставим перед собою цель хрестоматийного описания проблемы насилия во всем ее историко-антропологическом многообразии. Тем более, что в зарубежной литературе имеются несколько работ именно такого характера<sup>6</sup>. В отечественной литературе по проблеме войны и мира в так называемых традиционных обществах опубликована обстоятельная книга А. И. Першица, Ю. И. Семенова и В. А. Шнирельмана<sup>7</sup>, выполнены некоторые исследования по антропологии насилия в современных обществах, в том числе и в России. Мы видим свою задачу в анализе теоретических подходов к феномену насилия и в демонстрации их применимости или ограниченности прежде всего в отношении имеющегося в нашем распоряжении конкретного материала. Но самое важное — это предложить более сложное видение проблемы как обширного исследовательского поля, на котором ни одна холистская теория не способна работать. Возможно, что в историко-культурной перспективе мы имеем много разных социальных явлений, которые ошибочно называем слишком общей категорией — насилие.

В данной статье речь преимущественно идет о политическом насилии в его организованной и групповой форме. Именно этот вид насилия больше всего беспокоит современный мир и умы специалистов. Одна из причин кроется в том, что уходящий XX век стал веком, когда, как никогда в предыдущие века, люди не убивали себе подобных по причине расовых, классовых, этнических и религиозных различий. Пожалуй, никогда в истории даже самые позитивные по своим целям социально-политические движения не избежали того, что французский философ Мишель Фуко назвал парадоксом гегемонистских последствий так называемых «освободительных проектов». Именно современные политические движения, особенно за «самоопределение» разного толка, часто придерживаются принципа

насильственной борьбы, и эта борьба обретает не только длительный характер, но и конструирует свои собственные объекты и создает свои собственные оправдательные аргументы. «В поиске морального оправдания в жерлах стреляющих пушек насилие придает смерти характер ритуальной жертвы, превращает мучения в доказательство. Когда смерть становится мерилom преданности благородному делу, даже жертвы становятся соучастниками насилия, если они принимают это как некую историческую необходимость. Это один из путей обрести для политического насилия свою легитимность»<sup>8</sup>, — пишет Д. Эптер во введении в коллективному труду, посвященному проблеме современного политического насилия.

Мы хотим обратить внимание именно на возможности социально-культурной антропологии в объяснении насилия и в определенной легитимации этого феномена как феномена человеческой культуры. Причем, нас интересует коллективное насилие не просто как сумма индивидуальных девиантных действий, о чем мы писали в наших предыдущих работах<sup>9</sup>. Антропология современного насилия включает в себя проблемы, не менее трудные для объяснения, чем самые сложные ритуалы убийства в прошлом. Эта современная этнография и хореография насилия пока изучена слабо. Достаточно обратить внимание на явление телевизионно-постановочного насилия и смерти, к которому прибегали чеченские боевики, верша казни над своими жертвами, или вызывающий к насилию фильм режиссера Александра Невзорова «Чистилище» все на ту же тему чеченской войны.

Наиболее интересным и важным для нас представляется интерпретация насилия как формы дискурса. В отличие от индивидуального акта насилия, политическое (коллективное) насилие не может совершаться людьми вне определенного дискурса. Для того, чтобы организовать и исполнить насилие, люди сначала должны его «проговорить». Тайные собрания уже добавляют предзнаменование. В публичных политических платформах оно обретает воспламеняющий характер. Оно находит свое выражение в текстах прокламаций, художественной словесности и даже в академических лекциях. Коротче говоря, насилие вовлекает людей, которые призывают на службу ему свой интеллект. «Поэтому политическое насилие носит не просто интерпретивный характер. Оно привлекает на службу ин-

теллекты, которые выходят за пределы ординарности. Насилие заставляет людей переставать быть самими собой»<sup>10</sup>. Вовлекая большое число людей — исполнителей и жертв — насилие обретает собственную логику развития, разные аргументы его участников или внешних соучастников (включая и ученых) и совсем разные версии жертв насилия или тех, от имени которых оно осуществляется. Именно эта культурная динамика насилия представляет особый интерес.

### **Насилие: хрестоматийные подходы**

Традиционно антропологи подходили к изучению проблемы насилия как одной из характеристик «примитивных» или нецивилизованных обществ или как к форме проявления девиантного, асоциального человеческого поведения. Ученые стремились выявить своего рода правила или законы существования и проявления насилия как части культуры. В классической антропологии насилие трактуется часто как определенная социальная функция. Именно функционалистский подход рассматривает такие социальные институты, как набеги и межплеменные войны в качестве связующей группу функции, которая проявляется в общих нормах и ожиданиях, даже если внешне они носят разделяющий характер<sup>11</sup>. Насилие часто интерпретируется как своего рода объективная данность социального существования человека, которую общество должно уметь контролировать и подавлять. Этот подход лежит в основе психоанализа Зигмунда Фрейда, социологии Эмиля Дюркгейма, антропологии Морсея Мосса (дар как средство избежать войны). Социальная данность насилия составляет одну из основ концепции государства как монополиста на отправление легитимного насилия.

Еще более эссенциалистский взгляд на насилие разделяет социобиология, связывающая насилие с генетической природой человека. Например, на основе этологических подходов к изучению агрессии среди животного мира некоторые авторы пришли к выводу, что человек также обладает своего рода наследием внутренне присущей ему агрессии. Именно эта черта человека связана с развитием оружия и организацией войн, хотя в человеке нет биологически неконтролируемых механизмов агрессии, как среди других живых су-

ществ. Как пишет Лоренц, «Когда человек достиг стадии обладания оружием, одеждой и социальной организацией и тем самым преодолел опасности голода, замерзания и нападения диких животных, и когда эти опасности перестали быть основными факторами в процессе естественного отбора, тогда селекция на основе врожденной враждебности должна была сойти на нет. Фактором, который стал отныне влиять на процесс естественного отбора, стали войны между враждебными соседствующими племенами»<sup>12</sup>.

Этот подход почти безоговорочно был отвергнут современной наукой. Однако социобиологический смысл сохранился в более рафинированном виде. Именно с такой позиции была выполнена классика этнографического кино и сопутствующая этнография племени яномама американским антропологом Наполеоном Шагноном, что впоследствии вызвало ожесточенную дискуссию среди ученых, особенно вывод Шагнона, что «мужчины, которые убивали, имели больше жен и детей, чем мужчины, которые не убивали», и тем самым фактор репродукции является ключевым для понимания племенного насилия<sup>13</sup>. Маршалл Салинз убедительно доказал, что этот подход не вскрывает механизм сопричастности фактора репродукции и насилия, а также ничего не дает для понимания специфических форм насилия<sup>14</sup>. Среди отечественных ученых аналогичную критику биологизаторских подходов к проблеме предложил В. А. Шнирельман<sup>15</sup>.

Современная наука фактически отвергает попытки объяснить человеческое насилие в биологических наследственных категориях, особенно если речь идет о коллективных формах насилия как некой общей характеристике природы человека<sup>16</sup>. Как заметил один из авторов, «история и сравнительная антропология показывают, что люди воюют не потому, что им необходимо удовлетворить определенный инстинкт, а потому, что их интересы приходят в конфликт с интересами других. Определение, характер и относительная ценность этих интересов обусловлены культурными факторами»<sup>17</sup>.

Другим влиятельным подходом в антропологической интерпретации насилия был экологический подход, который связывает состояние человеческих коллективов с природными ресурсами и их доступностью. Так, например, известный американский антрополог Рой Раппапорт на примере изучения Новой Гвинеи обосновывал

положение, что демографическое давление приводит к конфликтам, смысл которых в перераспределении населения на доступной для жизни земле<sup>18</sup>. Позднее работы Раппапорта и Вайды были положены в основу анализа Карабахского конфликта российским ученым А. Н. Ямсковым.

Между сторонниками социобиологических и экологических подходов шла длительная дискуссия, особенно при объяснении войн среди амазонских племен, которая так и не дала какого-либо консенсуса. Скорее, более плодотворным итогом этих дебатов стали работы по этнографии мирных сообществ как также своего рода естественного состояния<sup>19</sup>.

Коллективное насилие и прежде всего войны активно изучались в контексте становления ранних форм государственности и централизованных политических систем в целом. Здесь большой вклад внесли отечественные ученые и следует признать как общий вывод о том, что насилие было своего рода «повивальной бабкой» ранних государств и даже недавних исторических эпох. Гораздо труднее признать, что оно обеспечивает стабильность государств в современном мире, на что справедливо обратили внимание многие авторы<sup>20</sup>.

К разряду общих выводов можно отнести положения о том, что насилие по своей первичной природе скорее носит коллективистский, а не личностный характер, что оно социально, а не асоциально или антисоциально, что оно культурно конструируется и всегда культурно интерпретируется. Эти положения были убедительно продемонстрированы отдельными авторами, которые провели полевые исследования среди североирландских экстремистов, жертв межрелигиозных столкновений в Индии, пострадавших от войны в Шри Ланке, жертв войн в бывшей Югославии и других<sup>21</sup>. Новейшие подходы позволили взглянуть на насилие с гораздо более сложным пониманием и разделить этот всеохватный феномен по нескольким важным параметрам. Во-первых, это культурная обусловленность самих норм и понятия, что есть насилие. Ибо разные общества и традиции, а также разные ситуации делают границы насилия крайне размытыми: то, что в одной культуре есть безусловное насилие, в другой — вполне терпимая и даже приветствуемая норма. Во-вторых, насилие имеет как бы две сферы: одна, связанная с телом и

причинением физической боли или смерти, другая — с так называемым символическим насилием. Наконец, некоторые антропологи обратили внимание на существование как бы двух разных типов социальности, связанных с двумя различными концептами личности. Один из них связан с миром человеческой политики и войны, создаваемых и поддерживаемых через ритуальные действия, когда человек и сообщества вынуждены демонстрировать насилие<sup>22</sup>. Однако в целом теория насилия разработана недостаточно, что в свою очередь приводит к малопродуктивным дебатам и по теории войны и конфликтов. Как справедливо замечает автор соответствующей статьи в «Энциклопедии социальной и культурной антропологии» Саймон Харрисон, «Адекватная теория войны вынуждена ожидать решения более крупной проблемы теоретического понимания насилия, которая в свою очередь слабо разработана в антропологии»<sup>23</sup>.

### **Определение насилия**

В социальных науках довольно часто смешиваются понятия насилия и агрессии. Последнее — это преимущественно домен изучения этологов и психологов, для которых насильственное поведение есть проявление и доказательство существования особого внутреннего состояния, называемого агрессией. В частности, военные действия часто трактуются как демонстрация агрессивных проявлений со стороны человека. Однако, как справедливо отмечают некоторые исследователи, едва ли возможно установить наличие агрессивных чувств у пилота, которых сбрасывает бомбы с большой высоты, выполняя боевое задание<sup>24</sup>. Здесь имеет место насилие, но не обязательно как проявление агрессивности. Скорее, агрессия как чувство и как поведенческий мотив больше проявляются со стороны объектов насилия в отношении попавших в плен летчиков, которых, например, чеченские комбатанты почти всегда физически уничтожали как наиболее ненавистного противника.

Война — это прежде всего социальный, а не психологический факт. Агрессия — это скорее нанесение физического и любого другого страдания с целью подчинения или доминирования над противником<sup>25</sup>. Но и в данном различии не все так просто. Агрессия может наблюдаться и без проявления физического насилия. В свою



очередь насилие может иметь агрессивные мотивации, но может и не иметь их. Насилие «включает использование большой физической силы или ее высокой интенсивности и, хотя часто насилие вызвано агрессивной мотивацией, оно может использоваться индивидами в обоюдном насильственном взаимодействии, которое рассматривается обеими сторонами как ответное или как возмездие»<sup>26</sup>. Подобных уточняющих суждений в литературе имеется в достаточном количестве, но за всеми из них присутствует одна фундаментальная слабость, а именно, — первородный эссенсеализм. Он проявляется в том, что происходит сначала монокультурное (в европейской, точнее, в иудео-христианской традиции) определение «сущности» агрессии, а затем уже ее использование в кросс-культурной перспективе для познания природы вещей. Как тонко заметил Томас Гибсон, «те, кто считает универсальное определение агрессии возможным и даже желаемым, чаще заинтересованы в том, чтобы сказать о членах определенного общества как «более агрессивных» в сравнении с другими по определенной количественной шкале»<sup>27</sup>.

В равной мере это же замечание относится к определению и использованию понятия насилие. Один из ведущих специалистов по данной проблеме Д.Ричес считает, что в англо-саксонской традиции имеет место негативное воздействие «народных» теорий о насилии, которые аналитик заимствует из собственной бытовой культуры. Именно в англосаксонских народных представлениях насилие выступает как иррациональная и дьявольская субстанция в человеке<sup>28</sup>. Более того, если посмотреть глубже, то идеи о первородной греховной сущности человека действительно имеют глубокую древность и восходят к самой христианской традиции. Вот только сама категория агрессии как концепта появилась сравнительно недавно и является прежде всего порождением науки о психоанализе. Идеи Зигмунда Фрейда глубоко вошли в западную интеллектуальную традицию XX века и для многих стали бесспорной истиной.

Нам представляется более плодотворным подойти к феномену агрессии (и насилия) не как к распознавательной категории, которую можно изучать вне социального и семантического контекста, а как к категории или явлению, наличие или отсутствие которого является вопросом эмпирического исследования. Другими словами, более плодотворным представляется подход к проявлению насилия

как результирующей тех ценностей и смыслов, которые существуют в данном конкретном обществе, где имеет место насилие. *Чтобы понять и объяснить насилие, необходимы не столько глобальная дефиниция и метатеория, сколько анализ сходных или различных культурных (социальных) условий, которые порождают то, что в данном обществе и в данный момент считается насильственным поведением.* Только в таком контексте можно ответить на вопрос, почему в одних регионах бывшего СССР или в российских этно-территориальных автономиях (республиках) произошли насильственные конфликты вплоть до масштабных войн, как в Карабахе и в Чечне, а в других (тоже анклавов, тоже депортированные, тоже в состоянии кризиса, тоже многоэтнические и т.п.) сохраняется мир и межэтническое согласие?

Иначе, нам придется вставать на упрощенные и несостоятельные позиции в объяснении как насилия в Чечне, так и насилия в отношении Чечни, которыми полны научные тексты и публицистика. Другими словами, *решающим моментом в объяснении насилия и конфликта является само понятие контекста как методологического условия, которое в свою очередь вытекает из признания первичности конкретной социальной ситуации в интерпретации человеческих институтов и поведения. Главное — это изучение в различных социальных средах человеческих реакций и действий в ответ на общие экзистенциальные проблемы.* Признав подвижную вариативность способностей и ограничений человека в социальной действительности, мы можем тогда сосредоточить больше внимания на том, как появляется и проявляется каждая конкретная ситуация насилия в том или ином обществе.

Однако прежде чем перейти к иллюстрации данного подхода следует сказать еще об одной теоретической парадигме, которая оказывает влияние на трактовку феномена насилия. Речь идет о различных конструктах «заместительной агрессии», основным из которых можно назвать тезис Джона Долларда о фрустрации — агрессии<sup>29</sup>, суть которого в том, что препятствие на пути целенаправленного поведения неизбежно ведет к агрессии. Это — чисто индивидуалистическая методологическая конструкция слишком часто и необоснованно переводится на социально групповой уровень. Установление фрустрации на групповом уровне ведет к

выводу, что данная группа (народ, меньшинство, нация) ищет выход из данного состояния в войне со своими соседями или через опыт коллективного катарсиса, например, в форме определенной ритуальной процедуры.

Многие антропологи прямо или косвенно разделяют тезис о фрустрации — агрессии, особенно в трактовке ритуала. Тот же Бронислав Малиновский считал, что ритуал служил важной функцией избавления от страха или тревоги в условиях неопределенности<sup>30</sup>. Примерно той же позиции придерживался Виктор Тернер. Однако другие классики антропологии (Альфред Редклиф-Браун и Эдвард Эванс-Причард) вполне резонно отмечали, что возможна и противоположная интерпретация ритуала, а именно, - последний создает состояние страха и тревоги, и ритуал следует рассматривать прежде всего с точки зрения социологического значения этого социального института, а не вкладывать в него фундаментальное психологическое значение.

В целом же подобные теории катарсиса сводятся к тому, что через драматический опыт индивид или группа очищаются от потенциально деструктивных эмоций, чтобы достичь гармонии в повседневной жизни. В конечном итоге идеи катарсиса превратились в западной интеллектуальной традиции в своего рода бытовую ментальность и на них зиждется значительная часть западной психотерапии. Имеются обобщающие социологические труды, в которых утверждается, что катарсис является потенциально полезным инструментом обеспечения психического здоровья и что подавление эмоций вызывает нестабильность и ведет к насилию<sup>31</sup>.

Признавая значение эмоций в человеческом поведении, однако трудно согласиться с претензией данного подхода на универсальный характер объяснения, в том числе и прежде всего феномена насилия. Тогда в чем же суть возможного альтернативного подхода?

### **Легитимации и динамика насилия**

Что может быть отнесено к всеобщей константе насилия, так это то, что оно не носит бесконечный характер и рано или поздно имеет обязательный конец. Этим насилие радикально отличается от состояния мира, которое в силу своей функциональной естественно-

сти длится долго, а иногда — очень долго: некоторые общества и общины не знают насилия и войны с момента их оформления как социальных коалиций. Трудно не согласиться с рутинной истиной, что война и насилие прерывают мирный ход жизни, а не наоборот. Хотя тексты некоторых исторических учебников и могут состоять преимущественно из перечислений воинственных событий, ибо это есть всего лишь закон жанра исторической драматизации и не более того. Тогда почему насилие, которое тоже может длиться долго, носить циклический и обоюдный характер, все же сходит на нет или целиком замещается позитивной кооперацией бывших врагов? Как получается, что после жесточайших войн, жертв и разрушений, которые только увеличивают символический капитал насилия, социальный процесс идет в другую сторону?

Что особенно примечательно, что некогда казавшиеся незыблемыми и не подлежащими обсуждению принципы становятся предметом переговоров и уступок, а заклятые враги становятся партнерами вплоть до совместного получения Нобелевской премии. Именно такую ситуацию мы наблюдали с насилием на Ближнем Востоке, а в последнее время в Северной Ирландии и Шри Ланке. Именно такая ситуация складывалась дважды в ходе чеченской войны после подписания сначала Назрановских соглашений в июне 1995 года, а затем Хасавюртовских соглашений в августе 1996 года. После подписания соглашений между федеральной делегацией и чеченской стороной в Назрани глава чеченской делегации Мовлади Удугов сказал своему партнеру министру Вячеславу Михайлову: «Если у Чечни будет когда-нибудь дипломатическая академия, то мы назовем ее именем Михайлова».

В конфликтах на территории бывшего СССР и в других регионах мира мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда мир и переговоры создавали ситуацию очевидной абсурдности происшедшего насилия и невозможности объяснить почему оно произошло. Границы функциональных взаимодействий сравнительно быстро становились более важными и вытесняли разделительные линии, которые проходили по этническим, религиозным или доктринальным границам. Вопрос «зачем была война?» становится одним из самых актуальных в общественно-политическом дискурсе, особенно среди рядовых участников социального действия. Мы зафиксирова-

ли большое число подобных рефлексий среди чеченцев, включая самых активных комбатантов, после того, как закончились военные действия в 1996 г., о чем речь пойдет ниже.

Однако что делает насилие длительным и сохраняет возможность его возобновления или повторения (циклы насилия)? Здесь есть несколько ответов, которые не укладываются в одно теоретическое обобщение, еще раз подтверждая, как дискретность самого феномена, так и необходимость дискретного анализа. Конечно, есть факторы, которые относятся к числу «грубой реальности», а не к сфере дискурса. Во-первых, в ходе конфликта могут возникнуть не только линии фронта, но и физические разделительные линии, которые по замыслу призваны положить конец насилию. Это могут быть границы новых государственных образований, призванные разделить враждебные и воюющие группы. Именно такой вариант миронавязывания был избран в бывшей Югославии. Это могут быть установленные внешними силами и международными структурами разделительные «зеленые линии», как это было установлено на Кипре. Или это может быть бетонная стена с колючей проволокой для разделения враждующих общин, как это было сделано в Белфасте. Наконец, это может быть земляной ров тоже с колючей проволокой, как это было сделано на ставропольско-чеченской границе или устанавливавшаяся федеральными войсками осенью 1999 года «зона безопасности» в Чечне.

Мое наблюдение всех упомянутых физических *линий раздела против насилия* привело меня к выводу, что насилие таким образом не устраняется. Оно может быть подавлено или прекращено, но не устранено как часть дискурсивной практики, а значит, и всегда потенциально готовой деятельности. В Хорватии в ноябре 1998 года граница ненависти к сербам перекочевала с поля боя на уровень вербального и графического насилия. В языке хорватских коллег-ученых сербы выступали только под названием «современные фашисты», «варвары», «тупые шовинисты и империалисты». Улицы хорватских городов были исписаны профашистскими (ушашскими) и ультра-националистическими лозунгами явно антисербской направленности. Тем самым некогда внутриобщинное (внутригражданское) насилие между хорватами и сербами в Югославии обрело дополнительную форму межгосударственного противостояния. Ин-

тенсивность (точнее — накал или потенциал) насилия не стала меньше по сравнению со временем, когда насилие имело открытую форму вооруженной борьбы.

В октябре 1996 года я пересекал зеленую линию ООН на Кипре, которая разделяет турецкую и греческую общины. Уже прошло два десятка лет после окончания войны на Кипре и установления *внешнего мира*, к которому я отношу форму мира или замирения, навязанную внешними акторами. Этот мир не был миром без насилия. Это был мир с насилием, ибо, начиная с пропускного пункта, надписи-послания и даже поведение людей (прежде всего их речь и аргументы) источали насилие. Похоже обстояло дело и в Белфасте в октябре 1997 года, но здесь разделен был только один город, а не вся территория, пораженная насилием. Здесь шли интенсивный диалог и формальные переговоры, которые через некоторое время закончились политическим соглашением. Хотя стена в Белфасте осталась на своем месте, а через два года в Ольстере снова были вспышки насилия.

Я пришел к выводу, что насилие и мир, как и переход от одного к другому — это прежде всего определенный дискурс и без его практики все три субстанции невозможны, а тем более их динамика. *Без говорения о конфликте и без объяснения конфликта, а также без первичного насилия как акта речи, сам конфликт и физическое насилие невозможны, хотя спорадическое насилие или единичный акт насилия вполне возможны.*

Следующий момент в анализе коллективного насилия в ситуации группового конфликта — это вопрос о том, удастся ли через прекращение словесного насилия снизить или элиминировать политическое насилие и тем самым предотвратить прямое (физическое) насилие? А также означает ли прекращение прямого насилия деэскалацию политического насилия? Или все перетекает из одного в другое без особых закономерностей? И, наконец, каковы те условия и обстоятельства, которые не позволяют возврат прямого насилия? Последний вопрос особенно актуален в связи с новым раундом чеченской войны в 1999 году после трех лет своего рода «внешнего» мира.

Акт речи, или слово, крайне важный элемент насилия. Словесная подготовка вооруженного сопротивления в Чечне началась с его

вербальной легитимации, когда был взят на вооружение лозунг «национальной революции» или «национального самоопределения» и целый набор идеологических постулатов о «геноциде», «народоубийстве» и «имперском господстве России»<sup>32</sup>. Шагом к насилию были некоторые литературные произведения чеченских авторов, многочисленные публикации местных и московских историков и других обществоведов, переводные сочинения, националистическая литература из других регионов СССР, которые пестовали трагико-драматический или геройский облик чеченской истории и чеченцев и взывали к «восстановлению исторической справедливости», к реваншу над прошлым. Тиражом в 10 тысяч (!) вышли в Грозном брошюры о пленном русском в чеченском плену, о горском оружии в Кавказской войне и другие<sup>33</sup>. На научных конференциях, посвященных разным деятелям «национально-освободительного движения», звучали не только мифологическая апологетика прошлого (пришедшая на смену советской цензурной версии), но и откровенные призывы продолжить начатое в прошлые века дело освобождения. Причем, наиболее откровенно формулировку такого призыва посмели взять на себя зарубежные эксперты — давние борцы с коммунизмом и русским империализмом<sup>34</sup>.

В какой мере и в какой момент в Чечне эти слова трансформировались в пули, т.е. в прямое насилие, можно сказать с достаточной точностью. Хотя связь между вербальным и прямым насилием имеет достаточно причудливый характер. Те, кто производят субъективные предписания к насилию или создают морально-доктринальную аргументацию, сами, как правило, не воюют. Рекрутирование исполнителей насилия идет из другой среды, а иногда даже из членов другой группы или профессионалов бизнеса насилия. Этой средой чаще всего являются сельские молодые мужчины или городские маргиналы. Именно так обстоит дело в Шри Ланке, Ольстере, среди латиноамериканских *геррильяс* и других рядовых участников «движений», «революций» и других коллективных насильственных действий. Трансляторами элитных призывов с академических и других трибун могут выступать разные социальные акторы, как и меняться суть самих аргументов насилия. Последние тем более меняются по мере эскалации самого насилия настолько, что первичные лозунги не только меняются, но и напрочь забыва-

ются. Приведу полученные мною свидетельства из опыта рекрутирования чеченских боевиков в 1991-92 годах. Из этих историй видно, что главным элементом чаще может выступать всего лишь конструирование образа врага, а не лозунг и доктрина.

*Люди приезжали с самых дальних горных аулов. На площади были собраны скамейки из городских скверов. Люди устраивали зикры, которые я раньше не видел. Зикры с большими барабанами заставляли подтянуться. Ноги сами так и несли тебя в круг зикра. И сами зикристы, и мы готовились к встрече с врагом. Но кто этот враг, по-моему, никто не понимал. Просто все думали, что где-то есть враг, и против него все становились как одно целое. Кто этот враг я тогда не понимал — не то Завгаев, не то русские. Может, тогда это не имело значения. Но от сознания, что этот враг есть, все чеченцы становились как одно целое. Больше всех угрожал Яндарбиев. (Саид Г.)*

Мой партнер по исследованию задал вопрос Саиду, «а кто были твои враги»?

*— А кто их разберет. Поначалу это были оппозиционеры. Враги Джохара, а значит, и мои враги. Потом мы с Лабазановым долги выбивали. Те тоже были враги Джохара. Были фраера — им дадут нефть на продажу, а они схапуют деньги и — на дно. А то и возражать пробовали. Но мы их доставали. Даю тебе слово, мы бы и Мамадаева с Мараевым достали. Но президент не дал команды. Это были враги — рисковые ребята. При деньгах, спортсмены, некоторые даже чемпионы. Однако же жадные. Одно слово — фраера. Потрясли мы их. Мне даже кровную месть объявили и не одну. Поэтому мне без оружия никуда. Потом оппозиционеры пошли. Это народ жидкий. Все больше начальники, преподаватели-интеллигенты: артисты, одним словом. Они на митингах выпендривались, изображали из себя. А мы их на кассету засняли и потихоньку выдергивали из домов. Бывало, потрянешь его, а его кондрашка колотит.*

*Потом пошли притеречные чеченцы. Эти тоже оппозиционеры. И хоть тогда Джохар не посылал меня с отрядом, я сам пошел. Мы были при нескольких орудиях. Поставили мы их на хребте. Тут*



*один завопил, что не желает стрелять по чеченцам, что за это нас проклянут. Но мы его урезонили. Правда, большого дела не получилось. Попалили мы из пушек, пару постов сняли. Ну, они и разбежались. Потом они (в ноябре было дело), поперли на танках в город. Мы заранее знали их маршрут, и мы сидели в засаде, аж в самой станице Петropавловской. Но это так, для фору. Мы с самого начала знали, что это концерт. А тут как раз по рации команда сматывать удочки, не делая ни единого выстрела. Пошебутились мои дружки, но делать нечего. Попрятали мы оружие и пошли в горы. Какая уж тут война, если у нескольких танков люки даже были открыты, и они, конечно, не собирались воевать. Это был понт, показуха.*

*Мне потом один знакомый (шустрый был адвокат, он меня еще по первой судимости защищал) говорил, что у Дудаева той осенью дела совсем в убыток пошли, и он сзывал народ на митинги, умолял защитить его, но никто не являлся. Поэтому надо было разозлить чеченцев, заставить воевать. Спрашиваю его удивленно: «Как это?!» Он, снисходительно осклабившись, продолжает: «Темнота! Журналист называешься». Я продолжаю удивляться: «Как же их можно было разозлить, чеченцев, если танкисты не собирались воевать?!».*

Совсем другая презентация тех же самых событий исходит от лидеров чеченского радикального национализма, а позднее — вооруженного сепаратизма. Здесь задача стоит легитимировать политическую программу и насильственную форму ее реализации, поднять собственное значение в историческом действии, принизить других претендентов на возможную славу, наконец, воспеть насилие как жертву. Вот как описывает первичную воинственную мобилизацию Зелимхан Яндарбиев:

*Помню те дни достаточно ясно, чтобы постараться передать их героический пафос. Это были дни, когда народ еще не вышел из постпутчевского (ГКЧП) накала страстей, которые, за период предвыборной борьбы обрели закономерный характер, а после избрания Джохара президентом трансформировались в стабильный общественный настрой. И патриотический энтузиазм, и гра-*

*жданский пафос, и революционный дух, и авантюризм, и собственный эгоизм, и альтруизм, и еще многое другое сплелось во времени и характере людей. И не было никакой возможности ни расчленить их, ни привести в систему. Не было других критериев оценки, кроме как «за» или «против». Единственное, что можно было делать — это наблюдать, воспринимать или отрицать, участвовать или не участвовать во всем этом. Люди, в большинстве своем, так и делали. Пытающихся понять и постигнуть было мало. Такие появятся позже. Но в большинстве лицемерящие. И только в начале появятся среди них те, кто действительно во всем объеме постигнет суть всего происходящего и осознанно, чтобы и на волосину не поступиться честью и достоинством нации, пойдет на смерть под знаменем независимости и с Аллахом в сердце. А тогда, в первые дни независимости, были только пафос и настрой, но способные снести любые преграды на пути. Они побеждали, подминая робость, сомнение, философствование, как водится испокон веков в такие эпохи и времена»<sup>35</sup>.*

Яндарбиев считает, что Дудаев и он понимали, что движет людьми, и эффективно это использовали. А «направляемые умелой рукой Кремля — КГБ силы реакции» такого преимущества не имели. Были еще многочисленные примкнувшие к народу, или как писал Яндарбиев, «просто присутствовали при народе, и это хорошо»<sup>36</sup>. Только за чеченским сопротивлением было преимущество исторической правоты, как полагают чеченские идеологи.

*Этот процесс уже невозможно было остановить, даже если вся многомиллионная имперская армия обрушится на чеченский народ... Это был закономерный момент в развитии процесса национального возрождения... Но не все готовы и способны были истинно философски и психологически осмыслить ситуацию. Более всех и те, кто мыслил себя интеллектуальной элитой нации и тем не менее не нашел лучшего применения своему интеллекту кроме как трусливого созерцания событий, вместо того, чтобы быть в передовых рядах, или демократически-демагогических пророссийских панических словопрений — публично и за глаза. Но в настоящей ситуации это было не существенно, ибо народ и без их «интеллекта»*

*знал, что ему делать, и это знание было обретено многостолетним опытом самоотверженной борьбы наших отцов за независимость, и прежде всего с российской империей. Этот опыт просыпался в крови чеченца, поднимая дух на битву»<sup>37</sup>.*

### **Внешний дискурс насилия**

Дискурс насилия не ограничивается академической или другой элитной апологетикой, хотя последние оказывают огромное влияние на массовое сознание. Особенно когда инициированное групповое насилие в форме «сопротивления», «революции», «бунта» и т.п. вознаграждено военным успехом или даже яркой победой. Окончание войны в Чечне в августе 1996 г. вызвало невиданную по интенсивности прочеченскую апологетику. Одно из наиболее обстоятельных исследований чеченской войны, выполненное американским журналистом и антропологом Анатолем Ливеном, содержит обстоятельную концепцию «социальных и культурных аспектов чеченской победы» под общим названием «Мы свободны и равны как волки» (одна из наиболее распространенных метафор дудаевского сопротивления, заимствованная из историко-этнографических текстов)<sup>38</sup>.

Ливен считает, что «подспудные силы чеченского общества и чеченская традиция сформировались и закалились опытом двух последних веков». Ссылаясь на работы российских антропологов (С. А. Арутюнова, Я. В. Чеснова), Ливен сравнивает чеченское общество с классическим эллинским обществом «с точки зрения культуры и этноса», которое «было крайне раздробленным и даже анархичным, но которое в силу базовой социальной структуры и традиций оказывалось способным к мощному единению в условиях внешней военной угрозы». Так и чеченское общество спонтанно родило мощное и всеобщее военное сопротивление внешнему вторжению российской армии. Ливен, повторяя взгляд российских этнографов о том, что чеченское общество было обществом военной демократии и никогда не знало никакой знати и иерархии подчинения, кроме как во время войны, делает вывод, «если герои Гомера были королями и знатью, то чеченцы традиционно эгалитарный народ. Поэтому чеченцы представляют собою архаических воинов, воспитанных и обученных вековыми влияниями этнических и (или) племенными

солидарностью и долгом, к которым более чем за два столетия добавились также религиозное единство и национальные страдания и борьба»<sup>39</sup>. Безусловно считая чеченцев «примордиальной этнической нацией», Ливен находит в них что-то особое, чего не было в культуре других народов, — а именно радикальное и всеобщее неприятие всего советского и всего русского, сохранение некой древней культурной основы своей общности. «Чеченцы действительно всегда вели себя как если бы они были боги... Чеченское общество и чеченских бойцов в последней войне можно сравнить с японским самурайским мечом начала нашего века: оружие, основная форма которого восходит к глубокой древности, но которая ковалась и перековывалась в горнилах нашего времени; оружие, которое оказалось в руках человека, который соединил в себе исключительно архаические ценности и достоинства с современным военным искусством высшего порядка. Очень древние, очень новые и очень эффективные»<sup>40</sup>.

Послевоенная апологетика вылилась в целую серию книг самих чеченских авторов, в сочинения российских специалистов и в многочисленные поэтические версии, которым крайне трудно противопоставить какие-либо иные интерпретации за пределами политически корректной версии этнографического романтизма и идеологической установки «меньшинства против империи» всегда правы, даже если вынуждены прибегать к вооруженной борьбе. Наш анализ именно народных версий войны обнаружил крайне разнообразный набор объяснений, и он заслуживает не меньшего внимания, ибо это такой же легитимный нарратив, что и академические сочинения, политические тексты и поэтические сочинения.

### **Внутренний дискурс насилия**

Из многих свидетельств, в том числе и последовательных дудайцев, только очень немногие носили характер однозначной апологетики случившегося. Да и в этом случае апологетика войны носила намеренно упрощенный характер вне доминирующих лозунгов «справедливой войны за независимость» или «национальной революции». Главным образом речь шла о *газавате* (священной войне) на том ее этапе, когда чеченцам пришлось защищать себя, свои се-

мы свои жилища. Из безоговорочных суждений в пользу войны нам встретилось только одно:

*Я человек рабочий и не знаю разных интеллигентских штук. Я скажу вам свою историю просто, без выдумок. Война эта справедливая, это газават. Я всю жизнь ждал эту войну, потому что раньше люди не слушались, своевольничали. Этому надо было положить конец. Порядок должен быть во всем. (Халид)*

Однако тема газавата встретила еще один раз и в очень интересной интерпретации, которая получила хождение в Чечне, особенно в связи с новым циклом насилия осенью 1999 года:

*Чеченцы в массе своей не хотели воевать. Их втягивали, ввергали в войну против их воли. Лучшие всего это можно проследить на примере газавата. Один из самых авторитетнейших в республике богословов, дважды занимавший должность муфтия, еще в самом начале войны заявил, что по самым строгим канонам ислама эта война не является газаватом. Муфтия отстранили, заменили другим послушным и беспринципным, который менял убеждения как перчатки. Народ ему не поверил. Тогда стали ссылаться на некие закордонные исламские авторитеты, которые ставили чеченскую войну в ряд войн в Югославии, Афганистане, Индии, и объявили чеченцев передовым отрядом борцов за веру. Однако дело в том, что чеченцы пережили в XX веке страшный геноцид 1944 года, лишившись почти половины своей численности. И поэтому народ не принял сомнительной чести поголовно лечь костью во имя мирового газавата. Во всяком случае, после геноцида 1944 года не чеченцам принадлежал черед во имя газавата исчезнуть со своей этнической территории.*

*Я не разбираюсь в богословии, но думаю, что только в самые последние месяцы войны можно говорить о газавате. К тому времени были разрушены вся экономическая и культурная жизнь народа. Абсолютное большинство чеченских семей лишилось своих близких, множество семей погибло полностью. И вот массовые варварские бомбардировки и обстрелы мирного населения под циничные заявления Завгаева о том, что небо Чечни чисто и безоблачно, по-*

*ставило вопрос о самом существовании народа. Тогда-то часть народа, которая предпочитала быть в стороне, решила погибнуть с оружием в руках. Другого выхода не оставалось. Для этих людей встал вопрос быть или не быть чеченскому народу. К тому времени был убит уже каждый десятый чеченец, а обстрелы сел и городов стали особенно жестокими (Саид М.).*

Еще один близкий вариант — это «не допустить позора женщин» и защитить свое село:

*Спрашиваешь, участвовал ли я в войне? Да, участвовал, но только не вместе с боевиками. Боевики здесь ни при чем. Когда солдаты приближались к нашему селу, мы уже знали, сколько народу они перерезали в Грозном и Самашках. Тогда мы, способные носить оружие, поклялись на Коране, что ляжем костями, но не допустим позора женщин. Боевиков у нас не было в селе, за исключением моего брата. А брат воевал в Грозном. И хоть он и младше меня, он с детства беспутный. Сидел дважды. У нас в селе его не привечают. Сунулся к нам как-то с дружками в село: мы, дескать, оборонять вас будем, у нас оружие, боеприпасы. Так все село встало против. Старейшины наши сказали ему, чтобы он не встречал, а если хочет оборонять село, так пусть подчиняется моим командам.*

*Меня главой ополчения выбрали. Я все-таки в армии до майора выслужился. Теперь, я думаю, правильно старики решили. Уж больно беспутные были у брата дружки. Потом мне говорили, они в мародеры подались. Ну, а мы воевали по совести. Солдаты российские думали, что выжгут нас артиллерией. Команда такая была, точно Берлин брали. Круглые сутки грохот стоял адский. Мне показалось, как военному человеку, что войска больше для порядку стреляли, для страха. Мы к тому времени так глубоко окопались, что нас только глубинными бомбами и можно было достать. Да село-то у нас маленькое, чтобы авиацию применять, а женщин и детей мы еще до приближения войск в горы отвели. У нас пещеры глубокие. Так что хоть и разрушили село наше дотла, из 120 мужчин погибло только 8. Да и то по причине озорства молодых: то без команды высунутся, то еще что-то глупое удумают. В другой*

*раз подошли федералы, так выскочили на рукопашную без команды. Словом, хоть и разрушили село наше, но дорогу, идущую в ущелье, так и не смогли захватить. Хотя техники побили мы видимо-невидимо. А солдат мы побили более 200. Поначалу-то мы не считали, а потом взяли в плен капитана-тыловика, так он нам сказал (Хизир).*

В апологетической версии, особенно когда речь идет о личном участии в войне, часто присутствует аргумент вынужденного участия под воздействием моральных мотивов или психологического отчаяния, когда «руки сами потянулись к оружию», чтобы «защищать свои дома и близких». Это, кстати, наиболее распространенная версия, которая еще более укрепилась с новым раундом войны осенью 1999 года среди чеченцев в зоне нового присутствия федеральных войск. Настроения жителей Грозного и горных сел в связи с новой войной нам неизвестны.

*Ну а после, когда война началась, убили моего свояка. Потом племянницу увели российские войска, до сих пор найти не могут. Потом российские войска стали торговать трупами убитых ими же чеченцев. Тут у меня руки сами потянулись к оружию. Продав я свой москвичок и купил автомат. И скажу я тебе, никакого обеспечения армии не было. Дудаев и его свора успели продать оружие, которое осталось от Советской Армии еще до войны. Да и армии-то у Дудаева не было. Не было никакого призыва в армию. Не было никаких стратегических резервов. Все это поганое вранье, будто имел Дудаев какое-то секретное оружие, что воевать он будет на чужой территории, что взорвет там атомные станции — все это бесстыдное, беспардонное вранье. Не было никаких фронтов, ни армии. Скажи на милость, какая может быть армия, если в самые напряженные моменты войны по горам бегало немногим более 1000 человек. На каждые 10 человек по 2 бригадных генерала — это же курам на смех, это игра в детскую войнушку. И вот такой-то «туфтой» генерал «купил» целый народ. Такая меня досада берет, что хоть вой. По-моему, война настоящая началась, когда народ взялся за оружие. Стал защищать свои дома и близких. Ты вот меня возьми. Ведь не собирался я воевать. Ан, нет! Заставили! Я знал*

*про контрактников. Знал про их свирепства и непотребства. И как подумаю, что дочь моя может попасть к ним в руки, так руки мои сами тянутся к оружию. Ну, вот и пришлось воевать(Кюра).*

30 ноября 1999 года российский телеканал НТВ показал разговор федеральных военных с жителями одного из чеченских сел, откуда ушли боевики по решению самих жителей и куда без боя вошли армейские подразделения.

*Ну, а ты сам воевал в той войне?* — спрашивает российский генерал одного из молодых мужчин.

*Нет, я в войне не участвовал, я сражался за свое село как против русской армии, так и против этих боевиков, разных бородатых арабов.*

На этом чеченце уже была одета новая камуфляжная форма российской армии (самая распространенная одежда всех участников чеченской войны с обеих сторон!) и автомат Калашникова. Он стал членом нового чеченского формирования под руководством противника Масхадова Беслана Гантамирова, который стал организатором нового чеченского сопротивления против «международных террористов и их покровителей». Возможно ли проникнуть в мир мыслей и мотивов этого молодого чеченца? Или только внешнему обозревателю кажется, что это должен быть мир моральной и жизненной драмы, а на самом же деле мир этого чеченца гораздо проще с точки зрения принятия жизненных решений. Просто нам не дано понять его в этой простоте. Эта простота на самом деле может быть трудной в смысле элементарного выживания, но никак не в смысле выстраивания линии поведения. Каждый отдельный человек, особенно в экстремальных условиях вооруженного конфликта и какофонии идеологических воздействий, не выстраивает тщательные и последовательные жизненные стратегии и тем более не обязан заниматься саморефлексией. В условиях тотального насилия часто все мысли и вся энергия заняты моментом существования (кто и откуда будет стрелять или бомбить, где безопаснее и куда бежать, где достать еду и воду, как обогреться и прочее). Тем более нам не дано вершить моральный суд. Правовую амнистию этот молодой чеченец, возможно, уже заслужил от российского генерала и от Беслана Гантамирова.



### Версия грязной войны или заговора против народа

Чаще всего среди чеченцев встречается версия войны как мистического заговора корыстных людей, прежде всего лидеров, с целью обмануть народ разными лозунгами и обещаниями, «разозлить чеченцев», чтобы они стали убивать, совсем не желая этого. Эта версия абсолютно противоречит той, которая доминировала во время войны (революция, отражение агрессии, война за свободу, защита Родины, своих домов и семей). Она представляет собою уже новую форму легитимации насилия через его отторжение как *навязанного действия*, которого никто не хотел, но которое случилось по причине невозможности простым людям решать этот вопрос. Народ предстает как жертва, а не как главная и всегда правая сила исторического события, о чем писал Яндарбиев и другие идеологи чеченского сопротивления. Причем, часто речь идет не только о чеченцах, но и обо всем народе страны, который стал жертвой заговора дельцов и политиков. Еще один новый мотив — это бессмысленность войны.

*Это была самая грязная, самая преступная и отвратительная из всех войн, о которых мне доводилось читать. И в других войнах верхушка нередко продавала свой народ и наживала баснословные прибыли на народной крови. Здесь же человек чужой народу и по происхождению, и по вере, и по воспитанию, и по образу жизни, и по языку сумел, подобно сирене увлечь, оглушить, обольстить и обмануть большую часть народа. Он увлекал его за собой, подобно крысолову из сказки и топил его в собственной крови. Он закапывал его под обломками собственных жилищ. Между прочим, многие заметили, что во время «катания» Дудаева по горам в специальном комфортабельном вагоне, оборудованном всеми удобствами и средствами связи, федеральные самолеты всегда совершали свои налеты на аул, где он останавливался, спустя 7–10 минут после его выхода из аула. И при этом, в каких анналах истории можно найти такой народ, которого вели на убой и который при этом рукоплескал своему идолу, слагал о нем вирши, вознося его выше пророков? Какой сюрреалист мог придумать такое? (Алик, учитель)*

*Я считаю, что людей разных национальностей, и в первую очередь, русских и чеченцев, заставили, как диких зверей убивать друг друга верхи обеих сторон. Я абсолютно убежден, что война нужна была политикам для того, чтобы вынести очаг пожара на окраины России. И, в конечном счете, войну развязали дельцы, чтобы на крови обоих народов нажиться, разграбить Россию, надломить ей хребет, чтобы никогда она не стала на ноги. Я лично людей еврейской и чеченской национальностей, которые составили себе огромные состояния, имеют виллы, яхты от Швейцарии и до Канарских островов, от Америки до Израиля, предал бы всеобщему народному суду. (Мудар)*

*Я все бьюсь над одним вопросом: а стоило ли ради того, чтобы привести во власть всяких ничтожеств, проходимцев, стоило ли разрушить республику, убить десятки тысяч людей? Что это за суверенитет и национальная свобода, если за них надо платить такой дорогой ценой? Да я даю вам голову на отсечение, я даже опрос проводил: 99% населения не знает, что такое суверенитет и никогда не считало СССР империей. А уж чеченцы разъезжали по шабашкам по всей стране. На своем опыте знаю, что простому народу всех наций не нужны суверенитеты, пока не довели дело до войны. Вот ведь парадокс для историка. Народ не хотел, не собирався, а «политики» заставили людей убивать друг друга. Да, видно, правду говорят, что история ничему не учит.*

*Война все же ошеломила. Я был растерян. Бизнес у меня складывался неплохо. Лично я был устроен хорошо. Может быть, поэтому мне казалось, что война быстро кончится. Ну, постреляют, спишут, как водится, технику, имущество, боеприпасы. И на этом дело кончится. Но нет. Проходил месяц за месяцем. Война продолжалась. Поначалу бросили в нее пацанов. Потом я понял, что это было сделано с умыслом, чтобы озлобить народы, вызвать взаимную ненависть. С обеих сторон участвовали контрактники. Я понял, что предстоит массовое убийство мирного населения — иначе большой войны не получится. Зачинщики рассчитывали именно на такую войну. Должно быть, здесь ставились глубокие, далеко идущие*

щие цели, а народ был обречен. Когда дело коснулось моего народа в целом, когда я понял, что на его крови многие и многие загребнут несметные богатства, закупают виллы и дворцы на Западе. Более того, в самой Чечне на костях народа воздвигнут дворцы, я не мог оставаться в стороне. Я оставил семью и один, горными тропами через Дагестан вернулся в Чечню. Город был разрушен до основания. Дымились развалины сел, а главное, почти не было семьи, которая не потеряла бы близких. Я сам несколько раз попадал под обстрел. Мой дом взорвали. Я вернулся в родительский дом и все-таки я не мог взять в руки оружие. Что-то удерживало меня. Не скажу, что я был из робких — за правое дело пойду, не дрогнув. Я заботился о родителях. Присматривался, наблюдал. И вот, что я видел. Недалеко от нас, в ложбине 12-го нефтяного участка располагалась часть «Х». Оттуда постреливали из самых различных стволов. Были там и зенитные установки. И, странное дело, зенитки стреляли из лога, находящегося за нашим пригородным поселком, а самолеты федералов, методично разнося в щепки наш поселок, не единого раза не сбросили бомбы в лог. Была странная последовательность в этих налетах. Сначала из лога громыхало все разнообразное оружие, включая и танковые орудия. А потом следовал налет, но именно на наш поселок, а затем, на значительном расстоянии, самолеты бомбили Алхазурово и Гойское. И повторяю еще раз, за 3-4 месяца, что я сидел в подвале разрушенного родительского дома, у боевиков в соседнем логоу и волос не упал с бороды. В конце марта, кажется, наступило в нашем краю сравнительно долгое и мучительное затишье. Видно и боевики стали томиться. Они выкатили на возвышенность перед логом два танка и оттуда начали палить по городу. Самые близкие и легко достижимые цели перед ними — нефтепромыслы. Я наблюдал с самого начала, как танки поворачивали башни в сторону от нефтепромыслов, и начали долбить жилые дома и школы в заводском районе. Они стреляли отчаянно долго. Я видел — загорелись дома. Потом, видимо, снаряды достигли 4-ой горбольницы. У меня был бинокль, выменянный у российского офицера. Я видел, как метались люди, должно быть раненые. И даю тебе честное слово, ни одного ответного выстрела не последовало со стороны федералов. Хотя я точно знал, что в заводском районе были сильно укрепленные блок-

*посты, комендатуры и большое количество артиллерии. Вот ведь, какие дела! Ну, а потом, вскоре после этого, все воинство из лога ушло. Ночь выдалась лунная, и все было видно, как на ладони. А утром был такой налет авиации на опустевший лог, какого не было во все предыдущие месяцы. (Хожахмед)*

К этой же версии добавляется мотив искушения, когда сдержанность и невмешательство «честных и порядочных людей» были сломлены ходом событий, в том числе лозунгами, обещаниями и даже ожидаемыми вознаграждениями:

*По аналогии с этим, я думаю о судьбе самого народа, но только в той части, которая поддавалась соблазну искушения лозунгами. Я глубоко убежден, что народ не желал ни войны, ни газавата. Его вовлекли, заставили вести войну. Большинство так называемых честных порядочных людей долго предпочитали позицию невмешательства, стороннего наблюдателя. Надеялись, что все уляжется, образуется, все станет спокойным и войдет в прежние берега. Это не было равнодушием. Это была надежда, что сдержанностью, самообладанием можно дождаться замирения, спокойствия. Эти надежды оказались тщетными и такой позицией воспользовались те, кто сверг народ в бойню. Когда это случилось, дорога назад оказалась не менее трудной, чем дорога вперед. (Саид М.)*

*Я про того Дудаева и слышать не хотел, а получилось, что он главнокомандующий. Хотя вот, что я тебе скажу, главнокомандующим-то он был на словах. Никакого единого командования во время войны не было. Я вот помню, когда послали нас в горы и мерзли мы в лесах и блиндажах, я того Дудаева не только в глаза не видел, но и слышать про него не слыхивал. Не то, что там тебе командир приободрит, но даже лекарств и бинтов не было. Сколько на моих глазах ребят погибло из-за того, что бинтов не было. Так вот, в войну-то победил не Дудаев, а народ. Вот только когда народ увидел, что творят российские солдаты, люди поняли, что такая же участь ожидает и их. Вот тогда гнев народный вскипел. Получается, что народное ополчение было главной силой. А Дудаев — вроде бы и ни при чем. Да и некоторые командующие фронтами. Видел я иных в деле. Бывало, проведут ребята операцию по своей*

*сметке, а тут, откуда ни возьмись командующий появляется. И в деле-то их не было, и не знали-то они — а после операции примазываются. Разборки устраивают, слова какие-то говорят: тут не так и там не эдак. А ведь ребятам на месте лучше было видно, что и как. Вот какие выкладки получаются. Если говорить по отдельности об этой войне, о разных там операциях, вроде бы не все понятно. А вот все собрать вместе, связать, чтобы всякое лыко в строку — это уж, видно, ваше дело, ученых. Одно только хочу сказать, не хотел я воевать, да вот и после войны героем себя не чувствую, хоть и наградами осыпан. Так что беспутное это дело — война».* (Таус А.)

### **Война как болото и как преисподняя**

Самая интересная для антрополога внутренняя версия войны встретила нас среди рассказов не чеченских интеллектуалов или политиков, а среди тех, кто «возил трупы на опознание». Эту категорию чеченцев невозможно числить ни среди инспираторов, ни среди исполнителей насилия. Это были своего рода шерпы войны и насилия. Именно один из таких «шерпов насилия» предложил удивительное по своей философской глубине и бытовой мистичности объяснение войны и смерти как экзистенциальной сущности, которая «у человека буквально под ногами». Суть этой мысли в том, что человек и его сообщество не запрограммировано на насилие, но оно (насилие) всегда рядом, а грань, которая отделяет мир и войну, жизнь и смерть, очень хрупкая и «в любой момент можно провалиться в подземелье». Война тем самым обретает подлинно мистико-религиозный характер: это — преисподняя ада, это — антижизнь.

*Я возил трупы в Урус-Мартан, на Терек на опознание близким. И народ мне, в общем-то, был благодарен. Иногда попадались останки знакомых мне людей. Некоторых из них я знал подолгу, целую жизнь. Учились вместе, растили детей, город-то небольшой, почти всех можно было запомнить в лицо. Я тогда понял, что война не обязательно приходит откуда-то извне. Война, смерть, разрушения — это все, что находится у человека буквально под нога-*

*ми. В любой момент человек может быть втянут в эту пучину войны. Значит само основание человеческой жизни очень непрочное. Человек, оказывается, ходит по тонкой коросте и в любой момент может провалиться в подземелье. Трупы, которые я возил на опознание, еще совсем недавно были живыми людьми; верили, любили, надеялись. А потом кора провалилась и люди оказались в подземелье. Не идет у меня из памяти труп одного молодого человека. Он был одет в джинсы, русоволосый и необыкновенно красивый. Такой чистый, светлый, такой красивый. Лежал такой спокойный, со светлым лицом, как будто уснул. А в руках держал букет уже пожухших цветов.... Чеченские ребята крайне редко ходят с цветами. И парень, должно быть, шел к девушке, может на именины. Только вышел из дома, купил цветы. Тут же был расстрелян с внезапно налетевшего самолета. Потом его сложили в штабель со всеми другими погибшими. Он так и не выпустил небольшого букета роз. Парень даже в лице не изменился, выражение его было доброе, точно живое, только на одной ноге не было ботинка. И, казалось, что он собирался найти свой ботинок и продолжить путь. (Саид М.)*

К этой же версии добавляется мотив о «взбаламученном болоте» — своего рода версия современного триллера, когда разные «гады», «распоясавшаяся чернота», которые сидят внутри самого человека или живут с ним рядом, могут выползти наружу и начать вершить свои дела. На них уже невозможно воздействовать, ибо они «бесы». Именно те самые «бесы», о которых писал свой роман Федор Достоевский, вынося литературный приговор революции и революционерам.

*Я думаю, что эта война, как взбаламученное болото выбросило наружу всяких гадин и выползшей. И загнать их в преисподнюю, где им настоящее место, ох как будет непросто. Лукавый, он же сидит в каждом человеке, а всякий бунт или другая катавасия снимет преграды в каждом человеке. Вот и получается бесовская круговерть. Поди, останови. Теперь они ходят, трясут своими грязными бородами, повесили себе всяких медалей и спят в обнимку с автоматом. Как ты его теперь на работу загонишь? Даже если бы и была работа. Или, скажем, на учебу отправить. Ему же*

*ни учеба, ни работа не нужны. Ему «вольной житухи» подавай. Вот и рассыпались по дорогам. Грабят под видом ГАИ, а то и нахально обирают. Я думаю, нам без крепкого правителя, без железной руки не обойтись. Только такой может взнуздать распоясавшуюся черноту. Иначе толку не будет. (Муса П.)*

### **Война как всеобщее безумие**

Тема «коллективного безумия» или всеобщего заблуждения уже встречалась нам при изучении других насильственных конфликтов. В июне 1992 года, когда я вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу прилетел из Цхинвали в Тбилиси на встречу с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе и его министром обороны Тенгизом Китовани, сопровождавший нас в машине местный политик сказал, показывая на руины проспекта Шота Руставели после недавней вспышки гражданской войны: «смотрите, как грузины могут все разом сойти с ума!» О коллективном безумии говорили некоторые, взирая в октябре 1993 года на обгоревшее здание российского «Белого дома» (здания Верховного Совета, расстрелянного танками), будучи не в силах объяснить, почему такое произошло в столице новой демократической России.

В крайне идеологизированной Чечне эта тема была далеко не самой актуальной, но от этого не менее важной и интересной для понимания местного общества, разорванного войной. Версия коллективного заблуждения стала актуальной среди глубоко травмированных людей, привычная социальная среда которых была полностью разрушена не только войной, но и тем, что сразу последовала за нею. А именно — отчаянная борьба за власть, за привилегии, за доходные места, за право командовать людьми и вершить над ними суд по каким-то новым для них законам и теми, кого они считали не достойными это делать.

После войны ситуация стала более обнаженной, ибо разделила общество на тех, кто воевал, т.е. имел право на все, и на тех, кто не воевал, т.е. должен был подчиняться «ветеранам войны». Почти в каждом селе появился такой «ветеран» с оружием и, как рассказывала Хеда Абдуллаева, в ее селе теперь все должны были идти к нему «искать правду» и решать споры, если из не могла решить мест-

ная власть. «А он только сидел со своим автоматом и указывал, что и как надо делать, хотя совсем ничего не понимал и его совсем никто не уважал до войны».

В послевоенной Чечне сложилась совсем другая социальная иерархия и поведенческая норма, которую население не могло принять или вынуждено было принимать, оказавшись заложником вооруженной секты. Чеченцы стали сравнивать свою жизнь с жизнью африканских племен (выученной, конечно, из учебников) и все больше думать о своей новой судьбе, которая внушала тревогу и вызывала внутреннее отторжение. Отсюда мотив «племенного одиночества», который близок нашему тезису о демодернизации, хотя они имеют отличающие смыслы. Здесь же мотив «похоже, мы основательно заблудились».

*У меня сын оглох. Сам я контужен. Памяти не стало совершенно. Спрашивается, ради чего же мы воевали. После войны все пошли просить себе должности, все ринулись занимать себе кресла «халимов». Однако большинство этих людей малограмотные или вовсе неграмотные. Они никогда не работали в аппарате. И не имеют понятия о службе. Они путают свой собственный дом с государственным учреждением. А у их домов выстраиваются длинные очереди искателей мест. И все это родственники. Должно быть, в Африке вожди ведут себя так же. Но тогда это не государство, а разрозненные племена. До государства мы не доросли. Спрашивается, за что же мы воевали? И хотя сыновья мои и получили должности, я все-таки иногда сомневаюсь, что мы построим государство. Должно быть и другие люди задумываются об этом так же, как и я. И чтобы уйти от ответа на вопрос о том, ради чего загубили столько народа, отвечают — за свободу.*

*Опять же другой вопрос: какая же это свобода, если командиры обзавелись дворцами на сотни тысяч долларов. А простой народ от голода, нищеты и безысходности впал в самое настоящее отчаянье. Но тогда командирам беспокойно спать в своих особняках и пировать в сообществах все новых и новых жен. Теперь у командиров пошла мода: они соперничают друг с другом по количеству жен. Благо, в исламском государстве разрешено иметь их минимум четыре. А ведь есть еще много честлюбивых молодых людей,*



*которым повезло меньше, и которые непременно попытаются счастье себе отвоевать, отвоевать себе местечко под солнцем власти, потеснив, а то и убрав нынешних владельцев. А это значит, что ни свободы, ни стабильности у нас не предвидится в обозримом будущем.*

*Вообще, я думаю, что люди без образования никогда не построят государства. Надо бы собирать грамотных, знающих людей, приглашать, ставить их к управлению. А теперешние власти боятся умных, толковых работников. Они ставят себе задачей обеспечить местечками всех боевиков и ни слова не говорят о том, что общество должно объединиться ради построения первого государства. Они думают, что в государстве может сосуществовать вместе несколько дружин, но так в истории нигде не было. Но если это понимаю я, всю жизнь проработавший в торговле и в кооперации, то почему до этого не доходят те, кто претендует на высшую власть. В общем, получаются неувязки. Похоже, мы основательно заблудились. И опять же из страха за невозможность ответить на вопрос за что, ради чего погубили столько народу, говорим, что совершили революцию, завоевали свободу. (Висит М.)*

Тема безумия и обмана дополняется мотивом театра абсурда, в который превратилась послевоенная Чечня. Этот абсурд видится все в той же новой несправедливости и изменности людских побуждений даже в условиях тотального насилия. О том, что в результате войны «люди мало изменились», что они по-прежнему пекутся о личном благе прежде всего, некоторые чеченцы высказывались еще в ходе войны:

*Отношение к любой войне крайне негативное. Нет вопроса, который нельзя было решить за столом переговоров. Это большая трагедия. Но мне казалось, что люди, пройдя этот ад станут нравственно чище, пересмотрят ценности. Когда в феврале 1995 года я попал в Грозный, то был удивлен и буквально заболел от того, что мои соседи говорили не о разрушенном городе, а о том, что у них украли. Война изменила не всех. (Рамзан Дж.)*

*Мое же родное село Х. втрое меньше и там боевиков не было. Но с началом лета его разбили вдребезги, а на Алерой не попал ни*

*один снаряд или бомба. В нашем селе муфтий республики живет. Война во всю бушевала, а он себе новый дом мрамором отделал. Так этот дом единственный в нашем селе, куда даже шальная пуля не залетела. Я все в толк не мог взять, как же это так: маленькие, скромные домики, как мой, например, да и вообще село наше неза-видное, если не считать хором муфтия, разбили в щепы, а с. Алерой осталось нетронутым. Думаешь, что российские не знали, что там начальник штаба вместе с боеспособными, опытными подразделениями?! Знали, но не трогали. Тут я в конец запутался. Странная это какая-то война. Вроде бы и правдишняя, ведь столько народу поубивало, беда-то какая. А вместе с тем, вроде бы и театр. Не по-настоящему воюют, а как бы играют в войнушку. (Исмаил К.)*

Это, кстати, приводит нас к мысли рассматривать войну не только в привычной драматизации иррациональности и изначальной антисоциальности, но и как конструируемую человеком часть его культурного перформанса. Война и насилие есть часть жизни, а не домен смерти. А значит у нее есть собственная легитимация, т.е. «оправдательное объяснение» или «объяснительное оправдание». Хотя бытовое сознание соглашается с этим тезисом очень трудно. Оно скорее склонно предложить мифопоэтические версии, вплоть до литературных заимствований. Одна из таких ссылок на Сервантеса чрезвычайно интересна:

*Семью в горы переправил, отвоевался. Потом разыскали меня, просили вернуться. Сказал — нет. Я уже по возрасту не военнообязанный. И такое во мне отвращение к войне. Да и к роду человеческому теперь. Устроился вот охранником, другой работы нету. Хотел было в лесники податься, я сам из горных чеченцев, да и какой уж там лес остался. Самые ценные породы порубили на дрова. Пока шла война, развязанная Дудаевым, и не было других источников тепла. Однако войне угодно было достать меня еще раз в августе 1996 года. В то, что это была война настоящая, правдишняя, может быть, и не верилось бы, если бы не погубили столько народу. Не порушили города и села. Вот возьми ты, и бригадные генералы, и генералиссимус и фронты и прочая чепуха — это, вроде бы,*

*игра. Помнится, читал я про Дон Кихота, как он с великанами сражался. У него как бы зрение помутилось. Так и Дудаев с генералами в войнушку играл, а у народа зрение помутилось. И побили этот народ смертным боем. Мне поначалу жалко было народ-то этот. Ни за что ведь гибнет.*(Кюра)

Таким образом, мы рассмотрели проблему насилия в альтернативном контексте, т.е. прежде всего как набор человеческих действий, норм и идей в конкретном социо-культурном (чеченском) контексте. Нас интересовали прежде всего внутренние объяснения и мотивы, а не какая-либо цельная теория насилия, которой до сих пор не существует прежде всего по причине крайней дискретности данного феномена<sup>41</sup>. Один из наших общих выводов состоит в том, решающим моментом в объяснении насилия и конфликта является само понятие контекста как методологического условия, которое в свою очередь вытекает из признания первичности конкретной социальной ситуации в интерпретации человеческих институтов и поведения. Главное — это изучение в различных социальных средах человеческих реакций и действий в ответ на общие экзистенциальные проблемы, включая войну.

Именно это методологическое условие позволило гораздо адекватнее взглянуть на чеченскую войну с точки зрения самих чеченцев, а не их самозванных вождей, полуобразованных идеологов и полевых командиров. Масштаб пережитого и совершенного (отчасти самими чеченцами) насилия действительно поразителен и выглядит внешне иррациональным и безусловно социально и морально не легитимным. Однако само чеченское общество в условиях войны демонстрирует хотя и сильно нарушенную социальность, суть которой в установке на кооперативное и мирное поведение. Феномен демодернизации проявился в том, что чеченское общество оказалось (вернее, позволило себя сделать) заложником крайне малой части протагонистов насильственного сценария и довольно мощной когорты участников новых геополитических соперничеств, осуществляющих глобальную «декоммунизацию» и «деколонизацию», а также «доисламизацию». Даже окончание войны в 1996 году не позволило освободить чеченское общество от избранного не им самим бремени передового отряда борцов против «последней империи». В

послевоенной Чечне мы не обнаружили позитивного мира, что вполне могло вызвать новый цикл тотального насилия, т.е. новую войну. Обычного насилия в Чечне оставалась и без того более чем достаточно все послевоенные годы.

Последние события в Чечне подтвердили, что существует и возможно не только тотальное циклическое насилие (т.е. как историческое продолжение предыдущего), но и утрата способности общества оказывать влияние на этот процесс. Такое общество и в такой ситуации платит слишком непомерную цену за то, что становится полем насилия. Более того, мы имеем основания говорить, что расхожая метафора, что «народ — всегда прав» и простые люди всегда против войны и насилия, должна подвергнуться некоторой корректировке. Могут складываться ситуации, когда насилие не только навязано большинству населения со стороны вооруженного меньшинства и воинственных политиков, но когда довольно широкие круги населения соучаствуют и извлекают определенную выгоду из практики насилия. Трудно поверить, что масштабная практика захвата и использования заложников и пленников-рабов в современной Чечне происходила без непосредственного участия не только некоторых высших чеченских лидеров, включая вице-президента Ваху Арсанова, почти всех полевых командиров, контролировавших со своими командами отдельные населенные пункты и районы, но и массы рядовых граждан, которые наблюдали данную практику и прямо участвовали в содержании и использовании труда заложников. Они же и получали часть дивидендов от продажи или обмена заложников. Последний момент изучен недостаточно, но наши данные говорят о том, что в период 1996-1999 гг. полученные и поделенные среди участников и родственников деньги от выкупа заложников составляли один из основных источников доходов многих чеченских семей, хотя не все предпочитали говорить об этом вслух и даже внутренне признавать преступное происхождение денег. Некоторые находили свое философское, политическое и даже этнографическое оправдание практики захвата людей с целью использования их труда и получения денежного выкупа. Другими словами, на примере современной Чечни мы имеем ситуацию, когда по крайней мере значительная часть общества, пребывающего в состоянии конфликта и социально-политического кризиса, оказывается не жерт-

вой, а участником и исполнителем насилия. Здесь действует не просто принуждение или прямая угроза со стороны инициаторов, а осознанная позиция, которая свидетельствует о массовой моральной деградации. Кризис морали среди масс рядовых граждан и массовое насилие тесно связаны между собою. Одна из чеченских женщин открыто высказывается с экрана российского телевидения, что «мы никогда не выдадим своих, и если боевики придут в село, то мы их спрячем и накормим». Для симпатизирующих чеченскому сопротивлению журналистов подобное заявление не более чем «поддержка населением движения сопротивления». Для нашего анализа — это явное стирание грани между криминальными исполнителями насилия и так называемым «гражданским населением», которое всегда и безоговорочно есть предмет заботы противников насилия и защитников прав человека. Данная женщина безусловно является участником акта насилия (в данном случае войны в Чечне), как и любая другая, которая передает пищу сидящему в яме или в подвале заложнику и дает ему задания на выполнение работ.

При такой ситуации глубоко эмоциональной вовлеченности и прямого соучастия в практике насилия достаточно широких слоев населения, делающих это не только по принуждению, а по моральным установкам и по материальной выгоде, внутренние ресурсы прекращения практики насилия крайне ограничены. «Мы в нашем селе знали, что никто не держит заложников, а если бы узнали, то ему было бы плохо», — сказала мне одна из жительниц села Беной-Юрт Надтеречного района. Но такие села с подобным моральным настроением жителей в Чечне были единицы. В большинстве сел, особенно в горной местности, еще до конфликта дома строились с многоэтажными бетонными подвалами, в том числе и рассчитанные на насильственное содержание в них людей. Едва ли владельцы этих подвалов могут объяснить, что они рассчитаны исключительно на хранение солений и варений. Как и когда в сравнительно недавние времена, а особенно в последние годы открытого конфликта произошел этот достаточно массовый поворот в ментальности чеченцев по отношению к использованию рабского труда и торговли людьми? Может быть это произошло еще до начала «национальной революции», когда предприимчивые и располагавшие деньгами чеченцы в 1960-80е гг. стали строить с горных и предгорных сел обширные

дома и вести солидной частное хозяйство, требовавшие дополнительной рабочей силы, которую легко поставляли лица без определенного места жительства (*бомжи*), а точнее, как правило, больные и сломленные алкоголизмом люди, нуждавшиеся в медицинской и социальной помощи. Их привозили чаще всего из сельских глубин России, где зарабатывали себе средства сезонным строительством мужские бригады из Чечни.

С началом войны в декабре 1994 г. многие мои чеченские информаторы объясняли практику заложничества и торговли людьми тем, что этим делом первыми занялись федеральные войска, требуя денежного выкупа за тех, кто содержался в так называемых «изоляторах» для проверки и мог быть подвергнут жестоким избиениям, или за трупы убитых чеченцев, которые оказывались в распоряжении или в расположении российских федеральных властей и войск. Встречался и этнографический аргумент, что «чеченцы всегда брали пленников, прежде всего из числа русских солдат, и содержали их в своих домах». Изданная в 1991 г. в Грозном брошюрка «Десять месяцев в плену у чеченцев», представлявшая собою воспоминания солдата царской армии времен Кавказской войны середины 19 века, была великолепной литературной подсказкой для современных чеченцев.

Какие в подобных случаях возможны воздействия и противодействия своего рода массового укоренившейся и почти ставшей легитимной для местного сообщества практики насилия? Один из наиболее вероятных вариантов — это внешнее вмешательство миронавязывания со стороны государства. Это наиболее распространенный и наиболее легитимный вариант, который в последние десятилетия применялся почти повсеместно в мире и с разной долей успеха. В последнее десятилетие появился вариант международного силового миронавязывания с целью прекращения тотального насилия, но послужной список этой исторической новации слишком противоречив, чтобы можно было давать ему однозначную оценку.

Уже после того, как была написана эта статья, началась новая война в Чечне, на сей раз снова с целью миронавязывания и ликвидации региона вооруженной сепаратизма, откуда насилие и религиозный экстремизм стали распространяться на другие регионы страны, прежде всего на Дагестан.

- <sup>1</sup> С.В.Соколовский. Полемилогические заметки // Этнографическое обозрение, 1995, № 5 и комментарий к статье Н.В.Кулаковой в том же номере.
- <sup>2</sup> В.А.Тишков. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.
- <sup>3</sup> Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». Якутск, июнь 1995 г. Отв. редактор В.А.Тишков, М., 1997.
- <sup>4</sup> В.А.Тишков. Антропология демодерна. Культурная динамика разорванного войной общества. (Выходит в свет в 2000 году).
- <sup>5</sup> Fieldwork under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival. Ed. by C. Nordstrom and A. Robben. Berkeley: University of California Press, 1995.
- <sup>6</sup> Riches, D. The Anthropology of Violence. Oxford: Blackwell, 1986.
- <sup>7</sup> А.И.Першиц, Ю.И.Семенов, В.А.Шнирельман. Война в ранней истории человечества. В двух томах. М., 1994.
- <sup>8</sup> D. E. Apter (ed.). The Legitimization of Violence. L., MacMillan Press, 1997, pp. 1-2.
- <sup>9</sup> См. : В.А.Тишков. Очерки... С. 320-353.
- <sup>10</sup> The Legitimization of Violence, p. 2.
- <sup>11</sup> Классический пример такой интерпретации: Gluckman, M. Custom and Conflict in Africa. Oxford: Blackwell, 1956.
- <sup>12</sup> Lorenz K. On Aggression. N.-Y., Harcourt, Brace and World, 1963, p. 42.
- <sup>13</sup> Chagnon N. A. Yanomamo. Fierce People. Holt, Rinehart and Winston, 1968. О дискуссии см.: Chagnon N. A. 'Life Histories, Blood Revenge, and Warfare in a Tribal Population', Science, 1988, Vol. 239, pp. 985-92; Lizot J. 'On Warfare: An Answer to N.A.Chagnon', American Ethnologist, 1994, Vol. 21, pp. 841-58.
- <sup>14</sup> Sahlins M. The Use and Abuse of Biology. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1976.
- <sup>15</sup> Ἀ.Ἀ.Οἰεδαεῖται. Ὁ ἐνοῖεῖα ἀνέιῦ ἐ ιεδα. — Ἀνέιῦ ἐ ιεδ ἂ δαίῖαε ἐνοῖδεε ÷ἀεῖῖα÷ἀνοῖα. ×ἀνοῖ ῖαδαῖ. Ἰ., 1994.
- <sup>16</sup> Hinde R. A. Aggression: Integrating Ethology and the Social Science. Medicine and War. N.-Y.: John Wiley, 1988.
- <sup>17</sup> Koch K.-F. The Anthropology of Warfare. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1974, p. 55.
- <sup>18</sup> Rappaport R. Pigs for the Ancestors. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967.
- <sup>19</sup> Howell S. and R. Willis (eds). Societies at Peace: Anthropological Perspective. L.: Routledge, 1989.
- <sup>20</sup> Turner P. R., A. D. Pitt (eds). The Anthropology of War and Peace. Perspectives on the Nuclear Age. Granby, Mass.: Bergin and Garvey, 1989; Foster M. L. and R. A. Rubinstein (eds). Peace and War: Cross-Cultural Perspectives. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1986.

<sup>21</sup> Feldman A. *Formation of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in Northern Ireland*. Chicago: University of Chicago Press, 1991; Das V. (ed.). *Mirrors of Violence: Communities, Riots and Survivors in South Asia*. Delhi: Oxford University Press, 1990;

<sup>22</sup> See, Harrison S. *The Mask of War: Violence, Ritual, and the Self in Melanesia*. Manchester: Manchester University Press, 1993.

<sup>23</sup> Harrison S. 'War, Warfare', Alan Barnard and Jonathan Spencer (eds). *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*. L.: Routledge, 1996, p. 562.

<sup>24</sup> О различении агрессии и насилия, а также о феномене ненасилия см.: Montagu A. *The Nature of Human Aggression*. Oxford: Oxford University Press, 1976; Montagu A. (ed.) *Learning Non-Aggression: the experience of non-literate societies*. Oxford: Oxford University Press, 1978.

<sup>25</sup> Marsh P. et al. (eds). *The Rules of Disorder*. L.: Routledge, 1978; Eibi-Eibesfeldt I. *The Biology of Peace and War*. N.-Y.: Viking Press, 1979.

<sup>26</sup> Siann G. *Accounting for Aggression: perspectives on aggression and violence*. Boston: Allen & Unwin, 1985, p. 12.

<sup>27</sup> Gibson Th. 'Symbolic representations of tranquillity and aggression among the Buid', pp. 60-78, in *Societies at Peace. Anthropological perspectives*.

<sup>28</sup> Riches D. *The Anthropology of Violence*, p. 2.

<sup>29</sup> Dollar J. et al. *Frustration and Aggression*. L.: Academic Press, 1969.

<sup>30</sup> Malinowsk B. 'An Anthropological analysis of war' in L. Bramson and G. Goethals (eds). *War: studies from psychology, sociology and anthropology*. N.-Y.: Basic Books, 1964.

<sup>31</sup> Sheff T. J. *Catharsis in Healing, Ritual, and Drama*. Berkley: University of California Press, 1979.

<sup>32</sup> См. подробнее: В.А.Тишков. Очерки..., С. 431-477.

<sup>33</sup> С.Беляев. Десять месяцев в плену у чеченцев. Грозный, 1991; Сабли рая (горское оружие в Кавказской войне). Грозный, 1992.

<sup>34</sup> См., например, тезисы выступления д-ра Марии Бенигсен-Броксап (Великобритания) на конференции, посвященной шейху Мансуру в 1991 году в Грозном. - Шейх Мансур и освободительная борьба народов Северного Кавказа в последней трети 18 века. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. Грозный, 1992, с. 44.

<sup>35</sup> Зелимха Яндарбиев. Чечения — битва за свободу. Львов, 1996. С. 89-90.

<sup>36</sup> Там же. С. 93.

<sup>37</sup> Там же. С. 94.

<sup>38</sup> Lieven A. *Chechnya. Tombstone to Russian Power*. New Haven and L.: Yale University Press, 1998, pp. 324-354.

<sup>39</sup> Там же. С.330.

<sup>40</sup> Там же. С. 334-335.

<sup>41</sup> Более подробно об этом: Антропология насилия. Отв. редакторы А.В.Бочаров и В.А.Тишков (выходит в свет).